

Машинки пишушей ребро
И лампы полукруг.
Ещё тепла строка Рембо,
Но холодно вокруг.

И молча смотрят книжный шкаф,
Потёртый старый стул,
Как головой на стол упав,
Хозяин их заснул.

Ночной Париж. Остывший чай.
А где-то, сбившись с ног,
Спешит сказать ему: "Прощай!"
Мордовский ветерок.

Ник. Горбачеву

— Ну, как там, старина, в краю ином
Всё то, что ностальгией мы зовём?..

— Скажу тебе по совести, приятель,
Мне дым отечества и сладок и приятен,
Но грустно видеть, на родной стремясь порог,
Отечества сгоревшего дымок...



Шмелем пустым мелькнула осень...

И день, и ночь,
и промежутки,
навечно
втиснутые в сутки,
и сами сутки —
все творенье
бессменного земли вращения
и солнца, слепящего глаз.

О, день, мерцаешь, как алмаз,
и ночь,
царица твоих снов...

Сумерки — смерть.
Утро — утрата.
Ночи ко дню прикасаться не надо.

Но есть в году сутки волшебные,
два поцелуя кратчайше мгновенные.

Р а в н о с т о я н и е .

Встреча — прощание.

В ночи, в черноте
смерть с смертельной косой,
ее догоняет петух золотой,
рожденный из синей лазури.
А вдали за горой
есть шатер голубой.

Там грезы и рая виденья —
дары неведенья, забвенья.

Мираж пустыни —
водяные струи
разбрызжутся в ничто
в потоках желтой бури.

В иероглифе раскосые века
и юная Европа в колыбели —
когда бы друг на друга поглядели,
коль не было
монгольских лошадей.

Ресниц опущенное веко,
над морем крепость Хаджибей.

Установиться, устоять,
увидеть нити поколений
и, как в нирване, утонуть
в славянской лени.

Бояр, грузин
прищуренные лица...
На Молдаванке вполупьяно
из кухни улица струится.

Уже улякла.
Серп поблеклый
рассветом мразным
слепляет очи
сновидным пеплом.

На кончике засохшего стебля
увядшего цветка увядший лепесток
из глубины
античной вазы,
как будто бы зрачок кошачий.

Сюр-морт и арт-натюр.

В сплетеньях набухающих ветвей
и в промежутках промеж ними
хороваются тень тени,
отзвук умершего дня,
звуки

ду-
до-
чки
весенней.

Сюр-арт и vivo-морт.

На миллионы световерт
струится свет потухших звезд.
И этот свет звезды потухшей
вбирает глаз зрачок влекущий.

И если наших душ порывы
в бессмертье делают прорывы,
то как им можно миновать
сосущие пространство дыры...

С ослепших светофора глаз
слеза трехцветная струится,
чтоб поутру на тротуаре
росой бесцветной испариться.

Очарованье в слове нежность.
Звучит в нем: нежить и — не жить.

Струится ветерок прибрежный,
и очи хочется смежить.

Пары целуются в парке,
в парке химеры и парки,
карма —
Джюльетта —
любовь.

Об асфальт шелковица
разбивалась в кровь.

Есть у Одессы ожерелье,
печальные глаза лиманов,
и запах их, живую прелью,
и живость их, обман туманов.

Есть у Одессы пектораль —
Эвксинский Понт.
И самоцветный Крым,
как брошь на нем.

Определились неопределенно.
Преодоленное начало
качало,
стыло,
есмь рожало.
И самость утекала в тмось
могильную плитой.

Преодо-непреодоленность,
нетленно тленная рожденность,

флюид над мертвою водой,
звук "Ми" под солнечной фатой,
полубубенчик на стекле,
гобой на свадебном столе
и стылый
колокола звон,
и есмь не в есмь,
и тон не в тон.

Из савана яйца лупится,
лунится
лунная карлица,
невеста лунного карла...

Предположим,
это горы.
Предположим,
мысль.
Предположим,
это рыбы.
Предположим,
жизнь.

Как хотите,
так крутите.
Не постигнуть сути суть.

Паутина белых нитей,
грусть
и Млечный Путь.

В Вашей руке папоротник,
к лесной реке тайный родник.
В лике у Вас та чистота,
что как цветов неприметных цветник.

В летнем лесу все дремота
и колдовской папоротник.

К Вам прикоснулся только на миг —
и безотчетно приник,
в Вашей руке папоротник...

В ночь на Ивана Купала
вскроет нам кладов завалы,
красным опалом раскрывшись на миг,
древний, как мир,

па-
по-
рот-
ник.

Как судьбу, заклинали названья
над болотною, сонной рекой:

Петербург, Петроград, Ленинград...

Не кирпич лег в его основанье,
черепа и остов костяной,
Молох, морось и жертвенный глад.

Петербург, Петроград, Ленинград...

Как взор взрывает ткань одежды,
чтобы увидеть нас нагих,
так дух, прорвавшийся чрез вежды,
гуляет в кладовых
души,
где явное — неявно,
а тайное — как скисшее вино.

Над речкой ласточки летают,
поля устали от жнивья,
кузнечик ножками читает,
возможно, книжку Бытия.

Из ничего выходят горы,
из ничего растут леса,
и море не имеет ложа,
но твердь имеют небеса.
Весна возможна среди стужи,
рассыпаны в асфальте лужи,
и в пробуждении цветков
уже есть осени примета
отдельных опадающих листков.

Но странно видеть среди лета
в аспидных

извивах
асфальта
тяжей

боль содранного снега
и тяжесть площадей.

Внутри очерченного круга
сейчас сплошь ночь,
не жди зари.
Никчемны добрые цари.

Возьмите, твари, топоры,
рубите ими друг вы друга,
как наши предки исстари —
пока не влюбитесь друг в друга.

О, дар божественной любви,
не дай остыть нам на досуге,

иначе в жертвенной крови
мы захлебнемся друг на друге.

Вербёнка, плачущий палач
в жестоковыйном оке Бога.

Кормится одинокий грач,
снежно, морозно — и дорога.

Жабер, вереск, роговицы,
в клюве посох
пленной жрицы,
раздвоенный язычок,
наклеенный на зрачок.

Сухой листок,
цветной лепесток
утонули в шелесте листьев.

Из всех для всех открытых истин —
желтеющий ковер листвы,
дерев скудеющая сень,
поля засохшие травы,
непостоянная погода —
чертежик перелома года.

Какая пряность златоцвета...
Шмелем пустым мелькнула осень
на бабьей паутинке лета.

Праздник утрат

1

Уже клонирована Долли
и все, что прожито, не в счет.
Стою один на поле боли —
не знаю, кто меня спасет.

Пока сбегаетесь на луг вы
смотреть на новеньких харит,
я неспеша из каждой буквы
клонировую свой алфавит.

Но он — ему-то что за дело? —
лишь повторит, что я храню.
И все, что прежде наболело,
опять болит сто раз на дню.

2

Уйдя из-под ножа,
гляжу вперед со страхом.
Держава, Дева-ржа,
пусть меч твой станет прахом!

Покуда наяву
саднит и ноет в венах,
посыпдем им главу,
как пеплом убиенных.

3

Прожив эпоху Гимностроля,
я заглянул, как прежде, в ночь.
Такую жизнь назвать сестрою
опять становится невмочь.